

«А все – таки она вертится!»

Турков А.

Героиня сравнительно раннего (1886 год) чеховского рассказа «Сестра» советует брату, пишущему о злободневной, вызывавшей всевозможные толки и кривотолки толстовской теории непротivления злу насилieм, «отнестись к этому вопросу честно, с восторгом, с той энергией, с какой Дарвин писал свое «О происхождении видов», Брем – «Жизнь животных», Толстой - «Войну и мир»...»

Любопытно, что в окончательной редакции этого рассказа, ныне известного под названием «Хорошие люди», приведенных слов нет. О причине их исчезновения, пожалуй, трудно догадаться: в них слишком явно звучал голос уже не героини, а самого автора с его восторгом как перед Толстым-художником, так и перед Дарвином («Читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю»,— писал Чехов в начале того же 1886 года),— иначе говоря: как перед искусством, так и перед наукой.

Позиция молодого двадцатилетнего писателя особенно примечательна потому, что на страницах той самой газеты «Новое время», где был опубликован рассказ, науке и ее адептам постоянно доставалось. Здесь, по ироническому отзыву Чехова, «уничтожали» Дарвина, печатали издевательский фельетон о Миклухо-Маклае «В гостях у экс-короля папуасов», а выводив в рассказе отрицательного героя — отставного студента, ядовито замечали, что он «весь преисполнен веры в торжество ума и науки».

«Я при всяком свидании говорю с Сувориным откровенно...» — писал Чехов брату Александру в 1887 году. И столь же откровенно противостоит позиции «Нового времени» многое, что печатал Антон Павлович на страницах этой газеты.

Написанный им некролог о знаменитом путешественнике Н. М. Пржевальском — это поистине песнь во славу деятелей науки.

«Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорство, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах да подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу... Недаром Пржевальского, Миклухо-Маклая и Ливингстона знает каждый школьник...». Такие люди, говорит Чехов, «нужны, как Солнце».

И, даже разрабатывая куда менее «романтический» и весьма сложный сюжет, Чехов остается верен своей поистине рыцарской заботе о чести науки («Одни естественные науки могут дать тебе ключ к разгадке,— пылко восклицает «чеховским голосом» героиня рассказа «Сестра»).

При появлении в 1889 году повести Чехова «Скучная история» критики сравнивали ее с напечатанной несколько ранее «Смертью Ивана Ильича» Льва Толстого: и тут и там перед лицом близящейся смерти в герое происходила совершенная оценка прожитой жизни.

«Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная»,— писал Толстой. Судьбу чеховского профессора уже нельзя назвать ни простой и обыкновенной, ни тем более ужасной. Не тянулся он, подобно толстовскому герою, «как муха к свету... к наивысше поставленным в свете людям», не любил давать людям друтого, низшего ранга «чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески просто обходится с ними», и т. п.

Напротив, с его именем «тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном». В простоте и легкой иронии, с какими Николай Степано-

вич, от лица которого ведется повествование, аттестует себя, ощущается человек недюжинный, «редкий экземпляр», как говорит его воспитанница Катя. И легко поверить, что среди его друзей были Пирогов, Кавелин и Некрасов.

Но даже этого выдающегося человека все «затягивает и затягивает ...илом», если употребить выражение из толстовского дневника.

Угасание героя оказывается заметно сродни общему процессу обесцвечивания жизни, происходившему в России конца 80 – х годов прошлого века.

Чувствительность самого героя ко всему выходящему за рамки его профессиональных, научных интересов, не очень велика: по собственному свидетельству, он «никогда не совал своего носа в литературу и политику». «Где другие протестовали и возмущались, - говорит он Кате, — там я только советовал и убеждал». И мы вправе видеть в этом отражение его общей, мировоззренческой, политической позиции.

Однако многочисленные детали, разбросанные в повести, дают ощутить тягостное давление игнорируемой героем «политики» на быт и судьбы людей, его окружающих.

В самом университете «улетучивание» живой души олицетворено в образе прозектора Петра Игнатьевича, в котором замкнутость в рамках профессии, свойственная уже и его патрону, Николаю Степановичу, доходит до крайних пределов. И думая о том, что это вполне вероятно, его преемник, профессор ужасается будущему: «Моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей...»

Характерный образ! Студенческая аудитория, общение с нею — последний оазис и для самого героя. За пределами этого оазиса расстилается пустыня. Размышления Николая Степановича о своих «милых мальчиках» высвечивают в его душе тот «святой угол», который дольше всего в ней сохраняется. Разговоры об измельчании молодежи, ощущает он, «производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери... Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к ИХ ОТНОШЕНИЯМ и сравниваю их с людьми не их круга.

И как бы ни зарекался профессор от «сования носа» в политику, но его защита молодежи выглядела в ту пору совсем не индифферентно. Стоит вспомнить хотя бы те комментарии, которыми сопровождала реакционная печать раскрытие заговора студента Александра Ульянова и его товарищей в марте 1887 года. Катковские «Московские ведомости» уверяли, что нигде в России нет никакой опасности порядку и революционных элементов («У нас нет ни пролетариата, ни рабочего вопроса... ни организованных политических партий, домогающихся власти»), кроме «искусственной фабрикации» недовольных «из детей, из учащейся молодежи, которую злоумышленная пропаганда уловляла в свои сети». «Новое время» указывало на «вред» сосредоточения в столице высших школ, откуда вытекает целый ряд новых неестественных явлений», и на массу людей с «правами образования» как на «готовую почву для всякой злой немочи, откуда бы она ни шла».

«Воспитанный, скромный и честный малый», как не без скрытого сарказма именует себя профессор, в сущности, не совал своего носа не только в политику, но даже и в дела близких ему людей, хотя порой ему просто необходимо было бы «протестовать и возмущаться».

Отношения профессора и Кати в какой-то мере напоминают те, что существовали в упомянутом чеховском рассказе «Хорошие люди» между братом и сестрой, когда журналист Лядовский долгое время был для Веры Семеновны предметом полной благоговения, пока она не обнаружила, что он «мыслит» стертými либеральными шаблонами.

Разумеется, Николай Степанович несравненно значительнее Владимира Семеновича и во многом действительно заслуживает уважения. Однако и тут на известной степени взаимоотношений героев оказывается, что его духовная «опека» над Катей основана на довольно призрачных основаниях.

В отличие от рассказа окончательный разрыв между профессором и Катей наступает не в результате докторальной уверенности бывшего «лидера» в том, что «на Шипке все спокойно».

Лядовский воспринял отъезд сестры как облегчение, разрешение кризиса их отношений: «Брат поглядел вслед... насильно вздохнул, но не возбудил в себе чувства жалости. Сестра была для него чужой. Да и он был чужд для нее. По крайней мере, она ни разу не оглянулась. Вернувшись к себе в комнату, Владимир Семенович тотчас же сел за стол и принялся за фельетон».

Финал «Скучной истории» во многом повторяет эту сцену, но он несравненно лаконичнее и драматичнее: «Я молча провожаю ее до дверей... Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!»

Владимир Семенович невольно обманывал сестру своим мнимым всеведением и так, видимо, и умер в сознании полезности своей деятельности. К нему в высшей степени относится замечание одного из толстовских героев о том, что «человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил».

Николай же Степанович в соответствии со своей медицинской профессией не питает иллюзий ни по поводу своей болезни, ни по поводу собственной полезности. Его самоисследование так беспощадно честно, что временами напоминает нечто вроде патологоанатомического акта.

И тем сильнее и неожиданнее выглядит лиризм финала. Катя, та самая Катя, которая разочарована и склонна к хуле на все, на молодежь, на свою былую любовь — театр, оказывается воплощением еще тлеющей в стариковском теле профессора жизни, предметом такой же нежной привязанности, как оставшееся уже где-то вдали многоголовое «море» молодой аудитории. Она уходит — и как будто душа отлетает от героя. И с небывалой искренностью, как прощальный крик, как последний вздох, звучит это — «Прощай, мое сокровище!»

При всей близости «Скучной истории» к «Смерти Ивана Ильича» чеховская повесть содержит в себе иное, чем у Толстого, и, если можно так выразиться, более злободневное содержание.

Казалось бы, плачевный финал старого ученого является подтверждением и, так сказать, частным выводом из толстовской концепции о ложности направления современной науки (как и искусства) и тщетности трудов «тех ученых, которые в простодушии своем всю свою жизнь заняты исследованием микроскопических животных и телескопических и спектральных явлений».

Николай Степанович, которого, по его собственному определению, «судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания», естественно, должен быть вроде причислен именно к этой категории.

Но повесть Чехова совсем не о том, как ученый смиряется духом и понуро шествует в Каноссу иных воззрений!

Примечательно, что формированию окончательного замысла «Скучной истории» и работе над нею предшествовала полемическая переписка с редактором «Нового времени» А. С. Сувориным в мае 1889 года по поводу нашумевшего романа Поля Бурже «Ученик».

«Пускай наука о материи идет своим чередом, но пусть также остается что-нибудь такое, где можно укрыться от этой сплошной материи», — писал Суворин, расхваливший роман на страницах «Нового времени». Прочитывая эти слова, Чехов возражает:

«Наука о материи идет своим чередом, и те места, где можно укрыться от сплошной материи, тоже существуют своим чередом, и, кажется, никто не посягает на них. Если кому и достается, то только естественным наукам, но не святым местам, куда прячутся от этих наук».

И вот как в другом чеховском письме выглядит один из «практических», человеческих аспектов этого вопроса.

«Вы интересуетесь знать, продолжает ли Вас ненавидеть докторша,— пишет Антон Павлович об их общей знакомой, Линтваревой.— Увы! Она пополнила и сильно смирилась, что мне чрезвычайно не нравится. Женщин-врачей осталось на земле немного. Они переводятся и вымирают, как зубры в Беловежской пустыни. Одни гибнут от чахотки, другие впадают в мистицизм, третьи выходят замуж за вдовых эскадронных командиров, третьи крепятся, но уж заметно падают духом. Вероятно, на земле быстро вымирали первые портные, первые астрологи... Вообще тяжело живется тем, кто имеет дерзость первый вступить на незнакомую дорогу. Авангарду всегда плохо».

Вполне возможно, что и Суворин вспомнил о «докторше» неспроста, а в какой - то связи со спором о романе Бурже. Чехов же, во всяком случае, явно рассматривает эту судьбу как пример того, как «достается естественным наукам и вообще «авангарду» - застрельщикам новых взглядов. Кстати, судьба докторши («Она пополнила и сильно смирилась...») — это типичный будущий чеховский сюжет, изложенный в этом, «черновом» своем виде со всей той недвусмысленностью и откровенностью оценки («...что мне чрезвычайно не нравится»), которая в самих рассказах этого рода по большей части будет скрыта за объективностью повествования.

Отголоски спора о романе Бурже возникают в переписке Чехова с Сувориным и после появления «Скучной истории» в печати. И в них слышится нечто весьма неожиданное, с точки зрения тех, кто рассматривал автора повести как послушного ученика «великого Льва», а саму повесть как написанную «под подавляющим влиянием» «Смерти Ивана Ильича».

Напоминая Суворину одно свое письмо, где говорилось о Бурже и Толстом, Чехов поясняет: «Я хотел только сказать, что современные лучшие писатели, которых я люблю, служат злу, так как разрушают».

Главное обвинение, предъявляемое и в этом и в прежних письмах роману Бурже, заключается в том, что сюжет и герой «компрометируют в глазах толпы науку, которая, подобно жене Цезаря, не должна быть подозреваема».

В конце письма снова упоминаются «авторы вроде Бурже и Толстого». Сближение довольно неожиданно, особенно если вспомнить, что Лев Николаевич, прочитав «Ученика», занес в дневник лаконичную оценку: «...какая гадость!»

Однако это негодование, видимо, было направлено главным образом против художественной искусственности книг Бурже, охарактеризованных позднее Толстым в ряде других произведений как «работа мысли без сердца, а с чучелой вместо сердца».

Но тот «претенциозный поход против материализма», в котором видел главный порок «Ученика» Чехов, вероятно, несколько не возмущал Толстого, поскольку он сам в те дни как раз доказывал, что «наука теперешняя не права, потому что не служит религии», и «те, которые называют себя жрецами науки, потеряли религиозную основу... и не имеют целью единение всех, а свои дилетантские интересы, славу и *divertissement*» [развлечение.— Ред.]

Парадоксальное сближение, объединение Чеховым имен Бурже и Толстого объясняется именно тем, что от них обоих, разумеется, с разной степенью художественной убедительности, «достается» естественным наукам, и без того являющимся постоянной мишенью реакции и мракобесия.

«Ученик» насквозь литературен. Критики отмечали влияние, оказанное на замысел романа Бурже историей Раскольникова. Действительно, многое в сюжете и мыслях молодого Робера Грелу навеяно Достоевским. Одновременно автор заставляет своего героя, когда тот попадает учителем в дворянский замок, сравнивать свои ощущения с испытываемыми в аналогичной ситуации Жюльеном Сорелем в знаменитом романе Стендаля «Красное и черное». Именно примером Грелу в первую очередь аргументировал Горький свое суждение в статье «Разрушение личности», что «исповедь сына века» (известный роман Мюссе.— А. Т.) бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде книг и каждый характер этого ряда становится все беднее духовной красотой и мыслью, все более растрепан, оборван, жалок».

В данном же конкретном случае обращает на себя внимание и явная тенденциозность замысла и обрисовки героев, их «чучельность», если вспомнить определение Толстого.

Робер Грелу пытается применить психологические теории своего кумира — знаменитого материалиста Адриена Сикста — для завоевания сердца дочери хозяина замка Шарлотты и в конце концов становится виновником ее самоубийства.

В тюрьме он описывает все с ним происшедшее и посылает эти записки Сиксту. «Мрачная история так подло подстроенного обольщения, ужасного предательства и прискорбного самоубийства ставила философа лицом к лицу со страшным фактом,— утверждает Бурже: — с влиянием его идей, оказавшихся разлагающими и тлетворными, хотя он лично жил в полном самоотречении и его идеалом всегда была чистота».

У русского читателя той поры тревоги Сикста, вполне вероятно, могли ассоциироваться с умонастроением, которое возникало в России, например, после покушения Каракозова на Александра II в 1866 году, когда, по свидетельству современника, Г. З. Елисеева, «люди ни в чем не повинные стали задумываться над тем: действительно ли они ни в чем не повинны, не позволили ли они в своих писаниях говорить иногда такие мысли и слова, которые могли бросить в преступнике мысль и решение на это покушение...»

Роман завершается тем, что брат Шарлотты, граф Андре, убивает совратителя, а потрясенный всем случившимся ученый, «впервые почувствовав беспомощность своей доктрины... склонился перед непостижимой тайной человеческой судьбы» и испытал «потребность молиться».

Этот финал, где Бурже, по словам Чехова, из большого ученого, «орла», сделал карикатуру, наверное, не удовлетворял Толстого-художника, но не так оскорблял как рыцаря науки Чехова: «Сикст, читающий «Отче наш», умилил Евгения Кочетова (сотрудника «Нового времени». — А. Т.), — иронизирует Антон Павлович, — но мне досадно. Коли нужно смело говорить правду от начала до конца, то такой фанатик ученый, как Сикст, прочитав «Отче наш», должен затем вскочить и подобно Галилею воскликнуть: «А все-таки Земля вертится!»

Думается, что знакомство с романом Бурже и спор с Сувориным, бесспорно, сыграли определенную роль и в творческой истории повести и в самом ее содержании.

Оба произведения открываются пространственными характеристиками знаменитых ученых — Адриена Сикста, «которого англичане называют французским Спенсером», и Николая Степановича, чье имя «в России... известно каждому грамотному человеку, а за границею... упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный».

Однако вместо «донельзя утрированной», как считал Чехов, фигуры Сикста, который был счастлив своей сугубо отвлеченной умственной жизнью, пока не увидел ее пагубных плодов на примере Робера Грелу, в повести Чехова нарисована куда более обыденная и реальная драма ученого и человека.

«Душевная жизнь» Сикста, по словам Бурже, ограничивалась тем, что он, «возможно» (!), любил свою мать. Подобная же намеренная односторонность и предвзятость ощущается и в том, что судьба Робера Грелу — единственное известное нам «практическое» осуществление, применение теорий «французского Спенсера», и этого, по авторской логике, вполне достаточно, чтобы доказать их вред.

Оба произведения заканчиваются поражением знаменитых ученых. О чувствах, испытанных Сикстом в финале романа, уже говорилось. И Николай Степанович к концу своей жизни, дотеле казавшейся ему «красивой, талантливо сделанной композицией», обнаружил в себе отсутствие «чего-то общего, что связывало бы все... в одно целое... того, что называется общей идеей или богом живого человека».

Любопытно, что в некоторых критических статьях того времени «Скучная история» истолковывалась так, как будто речь идет о произведении, идейно тождественном «Ученику». Так, в статье Л. Оболенского, напечатанной в «Русском богатстве» (№ 1 за 1890 г.), утверждалось, что в повести «показано ярко, психологически неоспоримо, что одна наука и

специализация в ней невозможны для истинно разумной жизни, без господства высшей объединяющей идеи, то есть религии».

Однако трагедия Николая Степановича совсем не в том, что он своими учеными проповедями подвиг кого-либо на ужасающе бесчеловечный поступок, подобный совершенному Грелу, а совсем в ином.

«Читаете Вы уже 30 лет, а где Ваши ученики?» — говорит ему Катя, и, хотя профессор ужасается резкости ее суждений, подобные мысли посещают и его самого.

Что касается науки, то независимо от его намерений в его наследники метят скорее всего бесцветнейший Петр Игнатьевич да один из тех безымянных и безликих «молодых жрецов науки», которые, как это описано в повести, являются к старому профессору за темой для диссертации, терпеливо сносят все его колкости и вспышки и добиваются своего (кстати, изображенный в повести молодой диссертант ведет себя очень похоже на жениха дочери героя, Лизы, — проходимца Гнеккера).

Однако соотношение учителя и ученика существует в повести не столько даже в сравнительно мало обрисованной Чеховым собственно научной сфере, сколько в «частной» жизни героев.

В финале «Скучной истории» Катя обращается к Николаю Степановичу с примечательными словами: «Ведь вы мой отец, мой единственный друг!.. Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?» (подчеркнуто мной. — А. Т.)

Известно, как оскорблялся Чехов предположением о том, что Катя влюблена в профессора. И недаром — подобные «догадки» игнорировали очевидную основу их отношений: Николай Степанович был для Кати, казался ей учителем жизни.

Их последняя встреча в Харькове — пик постепенно нарастающего в повести драматизма, который ярко обнаружился в ночных сценах на даче.

«Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые вроде называют воробьиными, — на свой рассказ об этой ночи профессор. - Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни».

Последующие события разворачиваются на фоне «великолепной» погоды: «...на небе спокойная, очень яркая луна и ни о облака. Тишина, не шевельнется ни один лист». Так что гроза бушует в человеческих душах.

В непонятной родителям истерике бьется Лиза («Я не знаю, что со мною... Тяжело!»), и на какое-то время в ее порыве к отцу, в ее бессвязном «лепете» воскресает детская доверчивость, надежда на понимание и помощь. (Впоследствии, узнав вместе с героем о ее тайном венчании с Гнеккером, догадываешься, что в ее душе в эти часы творилось, какие сомнения ее одолевали!)

Но Николай Степанович оказывается бессильным почувствовать и понять этот душевный кризис: «Что же я могу сделать? Ничего могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать.

— Ничего, ничего... Это пройдет... Спи, спи...»

В ту же ночь столь же внезапный (внешне внезапный) порыв толкает к герою и Катю, которой тоже «вдруг почему-то невыносимо тяжело»: «Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно данным выражением доверчивости».

Так дважды в эту ночь близкие герою люди уповают на его помощь — и оба раза напрасно. В финале же окончательно проясняется двойная трагедия — ученика, обманувшегося в учителе, и самого учителя, покидаемого учеником (в данном случае — Катей).

Разумеется, видеть в чеховской повести произведение исключительно полемическое было бы неверно, но никак нельзя игнорировать того очевидного факта, что впечатления, вынесенные Антоном Павловичем из чтения романа Бурже, стали частью той творческой атмосферы, в которой создавалась «Скучная история». Весьма характерно, что, оспаривая

мнение Суворина о своей повести, Чехов писал ему: «Где Вы нашли публицистику? ...Значит, и «Discipe» Бурже публицистика?»

Быть может, не без известного влияния на само название повести остались чеховские размышления над романом Бурже, позднее отозвавшиеся в письме к Суворину 27 декабря 1889 года, где говорится о писателях, которые «изошряют фантазию до зеленых чертиков и изображают несуществующего полубога Сикста и «психологические опыты».

Изошренной фантастичности сюжет Бурже у Чехова противостоит обыденная, скучная и с т о р и я со своим скрытым и горьким драматизмом.

При всей безотрадности рисуемого Чеховым прозрения старого ученого в ней нет преднамеренного осуждения ни героя, ни тем более самого человеческого познания.

Даже в тот миг, когда Николай Степанович по собственному уверению, «оравнодушел ко всему», осознал свое положение и понял, что «побежден», в его душе теплится что-то живое — бесконечно трогательное и несдающееся, поистине «орлиное», если вспомнить чеховские слова.

«Я хочу,— размышляет он, подводя итоги своей жизни,— чтобы наши жены, дети, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой».

- А все-таки она вертится!

И в эпизодической фигуре университетского служителя, швейцара Николая, полного слегка комичного благоговения перед наукой и ее «жрецами», вдруг, как в осколке зеркала, мелькает то великое и самоотверженное, что по справедливости должно связываться в человеческом представлении с именем науки.

«В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами... Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, оно не имеет теперь.

Судьба Николая Степановича — лишь трагический отрывок из великой летописи, имя которой — жизнь науки.

«Вы, быть может, скажете,— писал Чехов о романе Бурже,— что он воюет не с сущностью, а с отклонениями от нормы. Согласен, с отклонениями от нормы должен воевать всякий писатель, но зачем компрометировать самую сущность?»

Пользуясь этим определением, можно сказать, то «Скучная история» — лишь об отклонении от нормы.

Определенным коррективом, комментарием к образу Николая Степановича может послужить сердитое письмо Чехова к писательнице Е. М. Шавровой по поводу одного из ее героев:

«Ум, хотя бы семинарский, блестит ярче, чем лысина, а вы лысину заметили и подчеркнули, а ум бросили за борт. Вы заметили также и подчеркнули, что толстый человек — брррр! — выделяет из себя какой - то жир, но совершенно упустили из виду, что он профессор, то есть что он несколько лет думал и делал что-то такое, что поставило его выше миллионов людей... У Ноя было три сына: Сим, Хам и, кажется, Афет. Хам заметил только, что отец его пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной гениален, что он построил ковчег и спас мир. Пишущие не должны подражать Хаму».

Автор книги «Проза Чехова» И. Гурвич не без основания заметил, что Николай Степанович — «личность того же духовного интеллектуального уровня, что и Болконский, что и Левин».

Действительно, речь в чеховской повести идет о поисках высокого смысла жизни, о тоске по нему или, если уж быть педантически точным, об обнаружении героем своей духовной «недостаточности».

Николай Степанович оказывается, с одной стороны, «коллегой» толстовских правдоискателей, а с другой — несет в себе уже иное, специфически чеховское содержание — невозможность разрешения драматической духовной коллизии «по Толстому» (или тем более по Бурже!).

ЦГТБ имени А.П. Чехова